

А. И.
КУПРИН

Избранное



Париж домашний

Александр Куприн
Невинные радости

«Public Domain»

1927

Куприн А. И.

Невинные радости / А. И. Куприн — «Public Domain»,
1927 — (Париж домашний)

«Нет на свете той красоты и той добродетели, которая, в чрезвычайно сгущенном виде, не превратилась бы в уродство. Чудесно пахнут духи Rose Jasquetinot, но концентрированная розовая эссенция непереносна для обоняния. Так и бережливость – навык весьма похвальный, но родственная ей скупость, доведенная до крайности, – отвратительна...»

Александр Иванович Куприн

Невинные радости

П. М. Пильскому

Нет на свете той красоты и той добродетели, которая, в чрезвычайно сгущенном виде, не превратилась бы в уродство. Чудесно пахнут духи Rose Jacqueminot, но концентрированная розовая эссенция непереносна для обоняния. Так и бережливость – навывесьма похвальный, но родственная ей скупость, доведенная до крайности, – отвратительна.

Мы, русские, в мятежной широте души своей, считали даже самую скромную запасливость за презренный порок. В начале нашего парижского сидения мы почти единодушно окрестили французов «сантимниками», но разве – черт побери! – мы за семь лет не прозрели и не убедились, с поздним раскаянием, в том, что бесконечно счастливы те страны, где всеобщая строгая экономия вошла более чем в закон, в привычку? Наше глупое «денек, да мой» оказалось хвастливым, жалким и фальшивым выкриком перед французским разумным: «Для себя, для детей, для родины».

Да: и для родины. Вспомните войну семидесятого года и пяти миллиардную контрибуцию, покрытую столь же легко, как и быстро. Посмотрите на колоссальные общественные сооружения во Франции.

Французский буржуа дорожит своим трудом и высоко его ценит. Он отлично знает, что су сделаны круглыми вовсе не для того, чтобы их легче катить ребром, а для того, чтобы они не протирали кошелек; наоборот, они сделаны плоскими для того, чтобы их удобнее было складывать в стопочки и относить в банк. С деньгами не шутят.

На работу французский буржуа лют и умеет требовать работу от подчиненных. Но без конца он трудиться не хочет... Подходит его возраст к пятидесяти пяти годам. В банке, в надежных бумагах, давно хранятся солидные деньги. Три четверти жизни в работе и накоплении. Одна четверть для полного почетного заслуженного отдыха (конечно, я говорю о мелких буржуа и о крупных рабочих). Вовремя продается предприятие, место и машина... Гордо и сладко жить на ренту в провинциальном, родном, тихом городке... Вкусны: дневной аперитив и вечерний кофе в излюбленном кафе. Привычны: своя газета, свои собеседники, долгий спор на политические темы, ежедневная партия в манию или в белотт на стаканчик «пикколо».

Мечта отдыхающего француза, особенно парижанина, – это ловля рыбы на удочку. Но далеко надо ездить на рыбные места. Приходится ловить в Сене. Какие чудесные у французов рыболовные принадлежности, какая славная и разнообразная приманка, как красиво закидывает он леску и как они терпеливы!

Но, говорят, Сена на всем ее парижском течении – река совсем не рыбная, ибо вода ее испорчена отбросами города. Плодовита рыбой она становится только ниже Конфлана, там, где в нее вливается Уаза, и еще дальше. Впрочем, обо всем этом, чуждом мне удочному искусстве когда-нибудь гораздо авторитетнее, лучше и занятнее расскажет мой уважаемый друг А. А. Яблоновский (один из величайших современных рыболовов).

Отдыхающие буржуа, которые победнее и попроще, неизменно и неутомимо торчат круглый год над Сенной, на мостах и на прибрежных камнях. Часами торчат сзади них их досужие наблюдатели; не дождавшись, уходят; на их место становятся другие и также смотрят безрезультатно на рыболовов. Но, заметьте, – что значит культура! – ни один из зрителей не позволил себе пустить насмешливое или задирающее словцо, каждый из них с наслаждением подержал бы в руке, минут хоть десять, тяжелое удище!.. А вдруг?

Впрочем, однажды я в 1923 году был свидетелем счастливой ловли. В ту зиму Сена так высоко поднялась в своих берегах, что не только погрузила в воду обоих зуавов под мостом

Альма чуть ли не до подбородка, но слегка затопила метро Альма Марсо. Тогда Сена, стиснутая каменными набережными, яростно и круто стремилась вниз, грязно-зеленая, вся в кипящей пене и в клокочущих буграх, а над ней низко и косо носились с резким писком бог знает откуда прилетевшие острокрылые белые чайки. Тогда рыба действительно брала! Я видел, как к вечеру, с трудом оторвавшись от сладкого азарта, один рыболов, пожилой, короткий и толстый буржуа, тщательно развинтил и сложил свою коленчатую удочку, смотал, кряхтя, леску и с триумфом пошел домой. В его патентованном эмалированном ведрце плескалась дюжина рыбок: две крошечные плотвички, пара пескариков, несколько уклек...

О! надо было видеть его походку – походку старого, просоленного бретонского рыбака: широко расставляемые ноги, выпяченные локти, тяжелая перевалка с боку на бок. Для каждого из любопытных он останавливался и охотно приподымал истыканную дырками-продушинками крышку, чтобы показать ему свой богатый улов. Воображаю, как, придя домой, он священнодействовал у плиты, обваливая своих рыбок в муке и поджаривая их на фритюре. И с каким благоговением взирало на него потрясенное и счастливое семейство! Ну, не мило ли это? Во всяком случае, гораздо милее, чем приехать на автомобиле в Вилль д'Авре в шикарный ресторан, расположенный над озером Коро, и после долгого завтрака заказать хозяину рыбную ловлю. Вам дадут все: удочки, приманку, табуретку, клевое место, и, если вы даже при всех этих услугах умудрились ничего не поймать, вас заботливо обеспечат свежей, только что выловленной рыбой; конечно – не даром.

Второе увлечение французов – птицы. Я не знаю других городов, где бы так любили птиц, как в Париже и Москве. Здесь – во всех мансардах и ре-де-шоссе, там – во всех чердаках и полуподвалах всегда в погожие дни выставляют в распахнутые окна, между горшками с геранью и фуксией, клетки с неизбежными канарейками. У нас держали еще в клетках соловьев, чижей, перепелов, скворцов; здесь часто держат рисовки, неразлучки и еще какие-то маленькие, прелестные, ярко оперенные птички; названий их я не знаю; они продаются на набережной, где Самаритэн. Старые парижане еще помнят, как мелодично пели по утрам продавцы птичьего корма: «Mouron pour les petits oiseaux – aux...»

Теперь эти утренние певцы исчезли, вывелись. А «mouron» – эта такая маленькая, нежная, бледная травка, которая у нас называлась мокрицей. Домашние птицы охотно ее клюют.

Но есть люди, которым одинаково неприятно глядеть как на рыбу, у которой извлекают изо рта окровавленный крючок, так и на птицу, заключенную в тесные пределы клетки. Эти любители животного мира предпочитают видеть рыб и птиц на свободе.

Парижские скверы и сады охотно посещаются вольной птицей. По их лужайкам доверчиво разгуливают даже такие сторожкие птицы, как черные, желтоклювые певчие дрозды. Здесь дрозд отлично знает, что французскому мальчугану никогда не придет в голову соблазн лукануть в него камнем. У русского дрозда такой уверенности, пожалуй, не найдется. Я не говорю о воробьях и голубях; эти подбирают хлебные крошки у самых ног человека и почти из рук, что можно увидеть ежедневно в Париже, повсюду, где есть только скамьи для прохожих и древесная листва над ней, хотя бы даже на Елисейских Полях.

Парижские голуби очень красивы. Они стройны, тонки и грациозны. Оперение у них палевое. На стриженных парковых газонах, на их чистой, свежей, прелестной зелени они кажутся почти розовыми, и это соединение цветов необыкновенно радует глаз. Здесь я не видел голубей в таких огромных массах, в каких слетаются чугунно-сизые голуби на Красную площадь в Москве и серебряно-белые на площадь Св. Марка в Венеции. Но однажды, вместе с покойным В. А. Рышковым, из его чердачной вышки на улице Турнефор, мы с умилением и с беззлой завистью наблюдали, как напротив нас, через улицу, высунувшись из какой-то клетушки над седьмым этажом, гонял неведомый нам охотник отличную стаю любительских голубей. И совсем как в Москве, посвистывал он тонко и резко на особый лад и так же размахивал в воздухе длинным шестом с привязанной на конце его тряпкой.

Вот у меня постоянно Париж и Москва...

Когда-нибудь, если найду время, я приведу десятки характерных бытовых черт, чудесно общих для двух этих старых городов, но совсем неподходящих к другим большим городам. А ведь сколько наблюдательных и вдумчивых людей говорило: «Сам не могу понять, чем мне Париж так напоминает Москву?» Или это болезненные признаки ностальгии?

Но разница в том, что Париж во все стороны жизни – и в науку, и в забаву, и в искусство – вносит две стойкие черты: изящество и законченность.

Весь средний Париж, ежедневно, во всех садах, скверах, аллеях и тенистых зеленых закоулочках с удовольствием кормит хлебными крошками воробьев. Но из тысячи человек один доводит это скромное буколическое занятие до профессионального совершенства, до главного смысла и цели своей жизни, перевалившей к спуску в долину Иосафатову. Зоркий Париж давно отметил тип такого давнего любителя и дал ему подходящее наименование. По-старому его называли «Oiseleur» – эпитет, который был приложен к имени короля Henri I, Генриха Птицелова. Но «Oiseleur» означает не только птицелова, а еще любителя, пожалуй, покровителя птицы. Как сказать по-русски – не знаю. Птицевод? Птичник? Птицелюб? Ужели птицефил? Это старое французское словечко как-то стерлось. Теперь такого птицефила именуют с некоторой литературной претенциозностью «enchanteur des moineaux». Очарователь воробьев? Заклинатель? Воробьиный волшебник? Надо, однако, сказать, что сношения этих оригинальных людей с легкомысленными воробьями кажутся на первый взгляд и впрямь не лишены колдовства.

Одним таким «уазлером» я любовался несколько дней подряд, приходя нарочно к двум часам дня на сквер Инвалидов, и теперь с удовольствием возобновляю в памяти его волшебные сеансы.

Вот он приходит медленными, грузными шагами. Ему лет пятьдесят пять. Он плотной комплекции и кажется книзу еще шире, потому что карманы его пальто, набитые хлебом, оттопырились. На нем старая широкополая фетровая шляпа. Не торопясь, он садится на зеленую скамеечку.

Воробы уже давно его дожидались на газоне, против заветной скамейки. Теперь они слетаются со всех сторон и застилают зелень буро-бело-желтыми живыми комочками. Иногда мне кажется, что в этом мнимом беспорядке есть какой-то свой особый воробьиный строй и что-то вроде чиноначалия.

Очарователь отщипывает кусочек хлеба и, держа его двумя пальцами, подымает руку вверх.

– Алло! Феликс Фор! – восклицает он и ловко бросает хлеб.

Несколько воробьев срываются с мест, но один из них перегоняет всех и ловит кусочек на лету.

– Дюма-пер! Гамбетта! Фрейсине! Буланже! Лессепс!

Так выкрикивает Очарователь одно за другим громкие, старые французские имена, и с необыкновенным проворством, с замечательной точностью ловят воробы в воздухе хлебные шарики.

Знают ли они свои имена? Мне хочется верить, что знают. Впрочем, за Гамбетта я почти готов поручиться. Он приметен своей броской белобокостью, и, кроме того, у него одно перо на хвосте, справа, должно быть, сломанное или погнутое, торчит в сторону. Мне кажется, что он всегда подлетает на имя Гамбетта.

Эта переключка – первое действие. Окончив ее, Очарователь встает, подходит к самому обрезу газона.левой рукой у груди он держит большую булку, а правой отрывает от нее крошечные кусочки и чрезвычайно быстро (но спокойно) подбрасывает их невысоко над своей головой, плечами и лицом. И в миг он весь окружен, ореян, осиян трепещущей воробьиной стаей. Великолепное зрелище! Волшебник стоит спиной ко мне, лицом против солнца. Оттого

крепкая фигура его мне кажется темной и не явственной. Но тесный подвижный воробьиный ореол вокруг него весь пронизан насквозь щедрым, горячим, золотым солнечным светом. Воробьиные тела стали невесомыми, а их бьющиеся крылья пыльно-прозрачными.

Очень похоже на то, что стоит в добрый июльский день около улья русский пасечник, а вокруг него выются и кружатся добродушные и доверчивые пчелы.

Прилетает откуда-то, такой тяжелый в этой порхающей семье, такой неуклюжий в этой воздушной легкости, палево-розовый голубь. Волшебник хочет и ему побросать немного хлебных кусочков, но как справиться с воробьями? Их – сила. Они рвут хлеб прямо из руки. Они перехватывают его в воздухе. Они оттесняют своей массой голубя, не упуская, кстати, подходящего момента, чтобы долбануть его клювом. Они кричат на него: «Зачем влез не в свою компанию?»

Правой рукой уверенным кругообразным движением Волшебник отгоняет воробьев за свое левое плечо, осаживает, точно добрый полицейский, эту живую вертящуюся уличную толпу, чтобы выгадать свободный доступ голубю.

Воробью хорошо. Он может, часто трепеща крылышком, держаться на одном месте, может в момент взвиться вверх и юркнуть вниз. Голубю потребно широкое пространство для медленного маневрирования. Фрегат и миноноска... Для голубя теперь вопрос уже не в закуске, а в самолюбии. И когда, наконец, с трудом ему удастся вырвать подачку, он с наружным равнодушием отлетает прочь. «А все-таки я настоял на своем!»

Во время этой свалки хитрее всех и практичнее ведет себя белобокий Гамбетта. Он ловко пристраивается то на плече, то на воротнике Очарователя и, чуждый общего смятения, спокойно выклевывает у него из бороды запутавшиеся в ней обильные хлебные крошки. Есть в нем что-то от мародера.

Все движения Волшебника точны и размеренны, даже тогда, когда он идет, даже (я видел) когда он завтракает. Это профессиональная, инстинктивно ввевшаяся привычка. Такое же уверенное и вселяющее доверие спокойствие я наблюдал в жестах, движениях, даже в речи знаменитых укротителей хищных животных, не только в клетках, во время представления, но, в привычку, и в домашнем обиходе.